

42

ЗНАМЯ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

12

1 9 5 9

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Юрий НАГИБИН

О Чехове

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.

В. Маяковский

Я никогда не изучал творчества Чехова, я просто любил его и читал, люблю и читаю, буду любить и читать до конца дней.

Чехов — самый близкий нам по времени из великих прозаиков прошлого. Правда, Лев Толстой пережил Чехова, но он старше его и по жизни и по литературе: когда Лев Толстой начал печататься, Чехова еще не было на свете.

Чехов ощутимо ближе нам и потому, что до недавнего времени были живы его жена и сестра, его друзья и соратники по Художественному театру. Эти современники Чехова были и нашими современниками, они словно живой мост, перекинувшийся от Чехова к нам. Мы и читаем Чехова больше, чем других русских писателей, мы не разлучаемся с ним в театре, он звучит с эстрады и по радио, он излюбленная жертва нашего кино. И вместе с тем о Чехове-человеке мы знаем куда меньше, чем о других, давних русских писателях. Не говоря уже о Пушкине и Лермонтове, чей каждый час прослежен и стал общим достоянием, мы много отчетливее представляем себе живые образы Толстого, Достоевского, Тургенева, Некрасова...

Помню свое удивление, когда десяток лет назад я узнал, что Чехов был высок ростом. Не менее был я удивлен, что

Чехов, по собственному его признанию, мог осушить в молодости зараз две бутылки шампанского да еще запить их коньяком. И еще — что Чехова любили многие женщины, и сам он умел их любить... А ведь прежде самая мысль эта показалась бы мне невероятной. Чехов представлялся мне чуть ли не аскетом, человеком с одной-единственной поглощающей страстью — к литературе...

Эти будто незначачие подробности как бы изнутри осветили для меня и такие поступки Чехова, которые я ранее никак не мог по живому связать с Чеховым — хрупким, робковатым интеллигентом в пенсне. Я говорю о труднейшей по тем временам его поездке на «каторжный» Сахалин, где Чехов единолично произвел перепись всего населения, чтобы обнаружить, сколько людей томится там безвинно; в эпидемию холеры Чехов в качестве санитарного врача, ведая участком, включавшим двадцать пять деревень, четыре фабрики и монастырь, один, без помощников, быстрыми, решительными мерами не дал проникнуть эпидемии на свой участок. В письме к Суворину, писанном в ту пору, наполненную тяжелейшей, поистине богатырской работой, Чехов с обычной душевной скромностью писал, что он по-настоящему счастлив...

Вот такая сила и такая любовь к людям, к народу была в этом человеке, великом писателе русской земли!

Странно, что даже эти разительные факты биографии Чехова не сломали традиционного представления о нем как о щуплом, узкоплечем интеллигенте, тихом сельском враче эпохи безвременья...

Этот миф о Чехове, возникший еще при его жизни, равно относился к его личности и к его творчеству. Традиционно унылые определения творчества Чехова — «певец российских будней», «бытописатель серой жизни и сереньких, скучных людей» — обладали, видимо, такой прочностью, что проникли и в советское литературоведение. Встречались, разумеется, и более умные, даже блестящие определения, но смысл их был все тот же: писательское внимание Чехова устремлено было на серое, скучное, забытое, печальное, pokopное и унылое, как осенний дождик.

Это не значит, конечно, что в советское время не было серьезных, penetrating работ о Чехове, но таково и сейчас наиболее распространенное представление о его творчестве. Сказалось оно и в наших школьных учебниках и школьном преподавании, а ведь для большинства это школьное знание остается единственным и окончательным на всю жизнь.

При всей бесполезности упомянутых определений они как будто находят опору в большом числе чеховских рассказов, таких, к примеру, как «Ионыч», «Крыжовник», «Архиерей», «Дама с собачкой»; в рассказах о скудоумных чиновниках, о спившихся актерах, о томящихся в провинциальной глуши молодых женщинах, об «идиотизме» деревенской жизни. Но, отмечая серость изображаемых людей и быта, «определители» упускают из виду обличающую силу рассказов — производное от душевной энергии художника.

Устное, ходячее «литературоведение» охотно отождествляет личность писателя с его творчеством, с ведущим настроением его творчества, и «щуплый интеллигент в пенсне» очень хорошо подходил для такого узкого истолкования. Напротив, рослый жизнелюб и женолоб, страстный, жизнедеятельный человек, остро ненавидящий всякий застой, никак не укладывался в схему «певца се-

рых будней и сумеречных настроений». Но разве нет у Чехова иных, отнюдь не «сумеречных» рассказов, в которых его подлинная личность открывается нам в прямую? Есть, и немало. Об одном из таких рассказов я и хочу говорить.

Речь пойдет о рассказе «Воры». Тут не личное пристрастие, не игра вкуса. «Воры» и на деле один из самых сильных, удивительных и, добавляю, наименее известных рассказов Чехова. Почему же так редко поминается он в книгах и статьях о Чехове, в докладах, в обиходе? Верно, все по той же причине: он никак не укладывается в десятилетиями взлелеянный образ писателя.

Сюжет рассказа незамысловат, но необычайно емко. Запозднившийся в дороге фельдшер Ергунов, «человек пустой, известный в уезде за большого хвастуна и пьяницу», останавливается на ночевку на постоялом дворе, о котором в народе ходит дурная слава. Вскользь сообщается, что владелец двора Андрей Чириков был не столь давно убит ямщиками, и теперь за него хозяйствуют старуха-вдова и дочь Любка.

В доме фельдшер застаёт знакомого ему вора и конокрада Калашникова и цыгана Мерику, смуглого, с черными, как сажа, волосами, бородой и глазами, которого он однажды на пустынной дороге принял за нечистого. Красивая Любка собирается вечером, фельдшер, слегка перетрусивший, но держащий фасон, не хочет ронять себя перед дерзкой, насмешливой Любкой — присоединяется к компании. Воры скромно, но по-мужички выпивают, закусывают и предаются воспоминаниям о бывлой вольнице, о смелых конокрадах, о том, как бивали, калечили их, купали в ледяной проруби обманутые ими мужики. Фельдшер ест жадно, пьет много, сознает свою ничтожность и мучительно завидует бесшабашной отваге воров, их яркой, как кровь в свежей ране, жизни.

А потом Любка и черный цыган Мерику пляшут, и описано это так прекрасно, так маняще и дурманяще, что сладкая тоска охватывает душу. Вот оно, колдовство искусства! Читаешь — и будто не читаешь, а в яви видишь мельканье ситцевого платья, почти задевающего тебя по глазам, слышишь его шелест, и шорох, и дробь каблучков, и девичий смех, и обдаёт тебя волной горячего, молодого, девичьего тепла. И кажется,

что не фельдшером, а тобой самим сказалось: «Ах, что за огонь-девка! Что за жар! Отдай все, да и мало...»

А когда кончилась пляска, Мерик сказал Любке, обняв ее и глядя ей в глаза, сказал нежно и ласково, как бы шутя:

«Ужо узнаю, где у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебе горлышко ножичком перережу, а после того зажгу постоянный двор... Люди будут думать, что вы от пожара пропали, а я с вашими деньгами пойду на Кубань, буду там табуны гонять, овец заведу...»

Страшные слова, а Любке не страшно, она сама из того же отчаянного племени, она только спросила: «Мерик, а хорошо в Кубани?»

Калашников уезжает, и фельдшер выходит за ним на крыльцо: не ровен час, угонит он фельдшера коня. А когда фельдшер возвращается и ложится спать на скамейке, его начинает томить бессильная мечта о Любке. Мечта грязноватенькая, боязливая, но все же мечта, не похоть, а для Ергунова это уже кое-что.

Тем временем Мерик собирается уезжать, а Любка молит его остаться.

«Послушай меня, Мерик,— сказала Любка, и голос ее стал нежен и мягок.— Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее и меня, и пойдешь на Кубань любить других девушек, но бог с тобой. Я тебя об одном прошу, сердце, останься!»

«Нет, гулять желаю...— сказал Мерик...»

И Мерик уезжает на лошади фельдшера, в то время как Любка коварно отвлекает и завлекает его. А когда Ергунову открылось, что его обвели, обманули, обокрали, то уж поздно — ищи ветра в поле! Все пропало: и деньги, и чужая лошадь, и сумка с лекарствами. В бешеном гневе фельдшер набрасывается на Любку, но вместо того, чтобы ударить, обнимает ее. Ударяет его Любка и отбрасывает от себя прочь...

И когда утром он возвращается в больницу, избитый, обобранный, униженный, то вовсе не думает о тяжких для него последствиях этой ночи и ни о чем не жалеет.

«Он шел и думал только о Любке, о мужиках, с которыми провел ночь; вспоминал он о том, как Любка, ударив его во второй раз, нагнулась к полу за одеялом и как упала ее распутившаяся

ся коса на пол. У него путалось в голове, и он думал: к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же ведь вольные птицы, вольные звери, вольный Мерик, и никого они не боятся, никто им не нужен! И кто это выдумал, кто сказал, что вставать нужно утром, обедать в полдень, ложиться вечером, что доктор старше фельдшера, что надо жить в комнате и можно любить только жену свою? А почему бы не наоборот: обедать бы ночью, а спать днем? Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чертом вперегонку с ветром по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми...

Фельдшер бросил кочергу в снег, припал лбом к белому холодному стволу березы и задумался, и его серая, однообразная жизнь, его жалованье, подчиненность, аптека, вечная возня с банками и мушками казались ему презренными, тошными.

— Кто говорит, что гулять грех? — спрашивал он себя с досадой. — А вот, которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик или Калашников, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия и любили только своих жен, похожих на лягушек.

И про себя он теперь думал так, что если сам он до сих пор не стал вором, мошенником или даже разбойником, то потому только, что не умеет или не встречал еще подходящего случая.

Вот тут и ключ к рассказу. Фельдшер, возбуждавший презрение Чехова, пока был заурядным и, как говорится, порядочным человеком, становится ему симпатичен, душевно близок, даже дорог, когда под воздействием шальной, угарной ночи освобождается от вериг «порядочности». Чехов приветствует это вольное, бунтарское, проснувшееся в Ергунове; для него лучше любой бунт, чем мертвящий покой обывательщины, серая скука мещанского благополучия. То, что для другого писателя было бы падением Ергунова, для Чехова — пробуждение.

Каким опасным, ядовитым соблазном веяло от этого рассказа на многих добропорядочных современников Чехова! Как тревожно и неуютно становилось от него разным преуспевающим чиновни-

кам, дельцам, присяжным поверенным да и всем власть и деньги имущим. Его постарались забыть, выбросить из памяти. Недаром такой умный охранитель «существующего строя», как Суворин, укорял Чехова по поводу рассказа «Воры» в «равнодушии к добру и злу, в отсутствии идеалов и идей». Для него-то «идеалом» была социальная неподвижность, раз и навсегда установленный порядок жизни.

Да, Суворин тревожно и остро почувствовал бунтарскую сущность этого рассказа Чехова. Но, кажется, и он не до конца понял, какой дерзостный вызов всему тогдашнему обществу бросил Чехов, поставив отщепенцев выше добропорядочных обывателей, показав, что в разбойной лихости Калашникова и Мерики, в бунте Ергунова куда больше привлекательности, человеческой красоты, чем в сытом покое хозяев жизни.

И Лев Толстой, и Достоевский, и Лесков также изображали пробуждение стихийной, мятежной силы в душах простых, заурядных, смиренных людей. Но они противопоставляли этому пресекающую власть нравственного закона или религиозного чувства. Никто из них не воспел эту разрушительную, бунтарскую силу как доблесть, как просветление закосневшей души. Симпатия Чехова к этому новому, прозревшему Ергунову так велика, что он отдает ему в конце рассказа собственные свои слова и чувства. Выгнанный из больницы, Ергунов выходит в поле, и тут голос автора и голос Ергунова сливаются воедино:

«Боже мой, как глубоко небо и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром!»

И далее:

«Хорошо создан мир, только зачем и с какой стати... люди делают друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных и пр.? Почему трезвый и сытый покойно спит у себя дома, а пьяный и голодный должен бродить по полю, не зная приюта? Почему кто не служит и не получает жалованья, тот непременно должен быть голоден, раздет, необут? Кто это выдумал?»

Бунт Ергунова приобретает тут четкую социальную окраску. В самом конце рассказа Ергунов видит, как горит вдалеке подожженный — не Мерином ли? — чириков двор, и думает: а что, если

ночью нагрянуть в какой-нибудь дом, да побогаче?..

У меня есть два редких фотопортрета Чехова. Один из них переснят с карточки писателя, подаренной им П. А. Гайдебурову, внизу имеется дарственная надпись. Второй, нигде не опубликованный, отпечатал несколько лет назад с негатива старейший наш фотограф, девяностолетний Сахаров, неоднократно снимавший и Чехова и многих замечательных деятелей русской культуры. Это самый трагический фотопортрет из всех, какие мне доводилось видеть. Трудно смотреть на него без слез. Чехов снят за несколько недель до смерти. Как и всегда, он прекрасно одет: черный сюртук, стоячий крахмальный воротник, черный, изящно повязанный галстук, красиво спадает на манишку шнурок пенсне. Но лицо!.. Ведное, бедное лицо! Излоданное туберкулезом, все в мелкой сетке морщинок, с двумя глубокими бороздами от крыльев носа, волосы налипли на потный лоб, тронутые седой бородка и усы спутаны...

Когда карточка стоит на своем обычном месте, на книжной полке, знаки предсмертья издали неразличимы, и перед вами обычный, привычный образ Чехова: застегнутый на все пуговицы «интеллигент» в пенсне, благородно замкнутый и чуть печальный.

Но вот другой портрет, лет на десять моложе, показывает Чехова в совсем ином обличье. Быть может, самая непривычность этого обличья виной тому, что прекрасная фотография почти никогда не воспроизводилась. Каким орлом, каким молодцом глядит тут Чехов! Он еще здоров, округл чистым, свежим лицом, глаза мягко пристальны и глубоки, не сразу прочтешь их выражение, над высоким лбом красиво вздыбилась волна мягких волос, и кажется, что на черно-белом фото проглядывает ясный, морозный румянец щек. Если бы не изысканный сюртучок, обшитый по тогдашней моде тесьмой, не крахмальный воротник, бархатный жилет и шейный платок, его можно было бы принять за лихого добра молодца, за русского красавца-силача, что не страшится ни бога, ни черта и горазд на любое отважное дело. Какой уж тут «интеллигент», какой «певец будней»! Этот знает и дрожь горячего тела коня, и свист ветра в

ушах, и звон истомившейся крови, страсть и удадь, силу и яркость раскаленных человеческих чувств!..

Тяжелая болезнь, приведшая Чехова к преждевременной смерти, стерла с его лица яркие краски, погасила взор, усталостью смяла черты, но она не коснулась его внутреннего лица. Чехов до последнего дня был все таким же ясным, смелым, непримиримым к социальному злу, неправде, застою, несправедливости. Тысячи написанных им страниц — это приговор старому, отжившему, обветшавшему миру,

Дерзостной, бунтарской силой своего творчества дорог и близок Чехов нашему времени. Он верил в обновленное будущее России и знал, что это будущее не придет без борьбы, как приходит весна, а лишь после жестокой, коренной ломки всех устоев, которые и сам он в течение двух десятилетий расшатывал великой силой своего слова. В пору малых дел и робких стремлений, царивших в русском «обществе», Чехов не страшился грядущего великого бунта, а приветствовал его в сердце своем.
